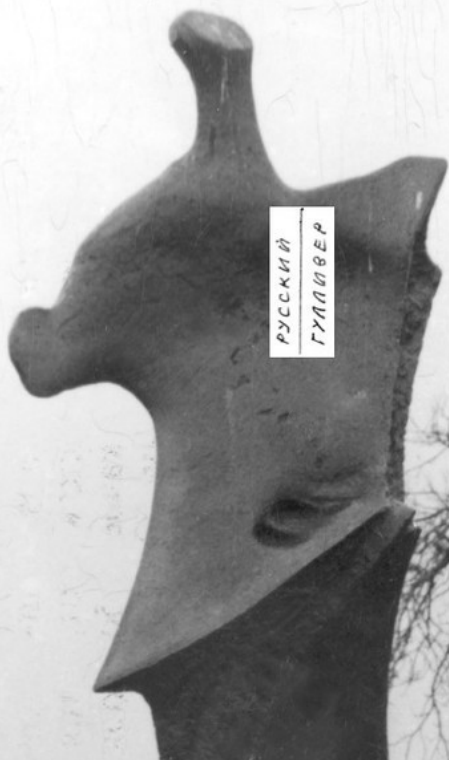


Александр Скидан

РАСТОРЖЕНИЕ



РУССКИЙ

ГУЛЛИВЕР



Александр Скидан

Расторжение

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=27050677

Расторжение:

ISBN 978-5-91627-031-0

Аннотация

В книгу Александра Скидана вошли его новые и старые стихи, а также статьи последних лет, посвященные современной поэзии, литературе, визуальным искусствам. Автор исследует подвижность границ между различными жанрами, теорией и практикой, литературой и философией, искусством и политикой, границ, которые рассматриваются под углом их преодоления в различных версиях радикального нелинейного письма.

Содержание

завтрак на траве	8
«что до искомой жалобы, когда б...»	8
Завтрак на траве	10
Посещение	13
Анадиплосис	15
«Скорлупу гитары проклюнь терпандр...»	18
Содом	21
Неточка	26
«наматывай веретено...»	27
Амадеус	28
Или/или	30
Фрагменты Орфея	32
«куда еще всего себя ты вложишь...»	35
«Голый завтрак». Премьера	36
«Обмелело все, что мелеть могло...»	38
Кенотаф	40
Искушение св. Маркузе	45
«У терминологических лакун...»	48
Рассеченный девизом	50
Делириум/фрагменты	54
в повторном чтении	62
«Руки гипсовый слепок тенью...»	62
«Распада меланхолический страж...»	64

Пассажи	66
Остров мертвых 1	69
«Красный мост. Солнце...»	72
Пламя Кассиса	74
«Неведение. Удивленье...»	78
«“Куст нескораемый” или шлейф...»	80
Безумный Пьеро	82
Короткое танго	84
Фотоувеличение	86
Киноглаз	88
«Зимы копыто, ты, и коптское письмо...»	91
Анчар	94
«что уголь в трубке черноглазой ворошить...»	95
«где выставка цветет как Климт...»	97
Пирсинг нижней губы	98
Конец ознакомительного фрагмента.	115

Александр Скидан

Расторжение

Стихи Александра Скидана более всего могут служить неким символом, может быть, тектонического разлома, может быть, резаной раны, которая распоролла не только поэзию, но и все тело нашего бытия в культуре.

Сергей Завьялов

Переводчик англо-американской поэзии, знаток и толкователь обэриутов (в частности, самого мрачного и эзотерического из них, Введенского), любитель психоанализа в его французском варианте, А. Скидан, безусловно, не только человек эпохи постмодерна, он его денди, потому что стиль ПМ понимается им абсолютно строго.

Елена Фанайлова

Цитатная мозаика в стихотворениях А. Скидана предстает искушением искушенного читателя. Искушением отыскать собственную неповторимую субъективность в зоне ее принципиальной невозможности, в зоне безусловного торжества обезличенной чужой речи, почерпнутой из высокого культурного архива или из низкого бытового лексикона... При этом практикуемый им коллажный принцип письма исключает присутствие авторского лирического голоса. Отчего и возникает неминуемый взрывной

эффект, вызванный неопределенностью и распадом субъекта высказывания.

Дмитрий Голынкин-Вольфсон

То, что у концептуалистов начиналось как сопротивление советской идеологии или «реалистической» эстетике, у Александра Скидана перерастает в сопротивление искусству как таковому... Поэтика катастрофы, которую практикует А. Скидан, призвана парировать фашистскую эстетику, в частности разрушая возможность безопасного отстранения субъекта от придумываемых им образов, а этих образов – от повседневной связи вещей.

Артем Магун

В том, что делает Александр Скидан, очень важно для меня чувство неотчуждаемого, бескомпромиссного достоинства языка, письма, литературы. Обнаруживающего, укрепляющего себя всякий раз не столько в традициях прошлого, сколько в разрывах будущего. И соответственно требование сходного достоинства для каждого из нас, пишущего или читающего, здесь и сейчас, в этот самый момент.

Юрий Лейдерман

Александр Скидан – явление для современной русской литературы уникальное. В нем рациональность тонкого аналитика и беспристрастного критика сочетается с изысканным поэтическим чутьем. После

Серебряного века (Андрея Белого, Вяч. Иванова, Осипа Мандельштама) комбинация теоретика и поэта в одном лице почти исчезла из русской литературы. У Скидана между миром критики, умственной игры и миром поэзии существует грань, не допускающая прямого вторжения аналитической концепции в поэзию. Но определить, где эта грань проходит, нелегко. Игра цитатами, обостренное чувство филологической конструкции тут явно налицо. Но эта подкожная филология вдруг исчезает, обнаруживая забываемое лицо подлинного поэта.

Михаил Ямпольский

завтрак на траве

«ЧТО ДО ИСКОМОЙ ЖАЛОБЫ, КОГДА Б...»

Меркуцио. Все это королева Маб...

Шекспир, Ромео и Джульетта

что до искомой жалобы, когда б...
не насекомый желобок у Маб,

с мушиным ворсом, с понтом книгочей,
крадущийся на цыпочках речей

за королевной по пути в кабак,
в возне мышиною – зуб за зуб – мышьяк,

как дискобол спеленутый, сглотнул
луны снотворное и навсегда уснул

наследный принц, Меркуцио повинен
в подкорковом бреду мужских плавилен,

Меркуцио... на оба эти дома

он клал клинок, но явь была ведома

банальной рифмой: меченой икрой
пред публикой с раскатанной губой.

Завтрак на траве

1

На козых ножках гейш заплечный воск
без имени без покрывала
но в легком коконе членораздельных ласк
уже не чувствуют. теперь пиши
 пропало
на холмах грузии в ножнах чужих клинок
и нежный мертвый локон вьется
парнокопытный певчий голосок
 как ни зови – не отзовется
с глазами-кравчими четвертый Филострат
духовной жаждою постился
но сатурналий вертоград
осунулся и метр переменялся

2

Где авгиева петербурга спесь?
он весь в ангине желторотой

с табличкой аховой под сердцем ахеронт
двусмысленный как палимпсест

двужильный

как бы разорванный как бы зашитый рот

рубец плывущийся могильный

...Все эллинисты в камерных театрах

и все хотят увидеть всех

хотя бы инициалы в титрах

потом когда-нибудь, и жаловаться грех

и *перестукиваются*

Посещение

Виктору Кривулину

1

исчадь музыки в проводниках ума!
еще белым-бела бумага
как в черной мессе клавиш тьма
заткнись и вслушайся уже грохочет влага

писчебумажный протокольный стикс
опять о принтер зубы точит
пока я дочитаю стих
он предложенье обесточит

– ну вот сбылось ну вот – пошла писать
губерния. а по губам – эллада
читай. вся в саване. купированных ять
и тех не будет и не надо

сыграем в ящик пандоры опять

писчебумажный протокольный стикс
еще о принтер зубы точит
пока я дочитаю стих
он предложенье обесточит

а помнишь? – ласка ласточка лазурь
глаза расширенные литер
клинические. господи! скажу ль
о пальцы чуткие начните

озноб дурашливый в зобу крепленных вин
облатку розовую сайки
как дерн душистый кофеин ваниль
...с амвона Розанов как бы Иисус Навин
пророчит вечность – и – ничком на санки

и – в дерн распахнутый душистый

Анадиплосис

как шерсть податлива, как сон невосполнима
 вода отвесная, откуда вытек весь
воздух – там беспамятства равнина
 запаянную в шаре держит взвесь
как троеперстье, в пустоте... и музык
 в волне изваян мускульный плавник
песчана смерть, и безнадежно узок
 как узнаванья – погруженья миг

*

Эвтерпа девочка искуснейшая из
 недвижимостей! некогда бродяжил
в слезящейся как море парадиз
 волнообразной ионийской пряжи
и мой движок. но плакальщица-сушь
 сомкнулась сузилась, и время обмелело
и пьющий смесь бессолнечную муж
 не возвратится в мыслящее тело

*

просеянный чрез горловину
 стекла фигурного, песок
утопленницу луговину
 с плящегося дна извлек
не иссякают в «перемычке»
 ни бабочка ни Чжуан-цзы
но забираются в кавычки
 и их песочные часы

*

где смерть живет как «малое сознание»
 на дне «большого», опершись о свод
акрополя немые изваянья
 все наши мысли переходят вброд
и достигая берега значений
 нашарив средостенья крестовик
как воинство летучих сновидений
 переломляют ропщущий тростник

*

телескопический зрачок
душеприказчица-ангина
сырых слогов сырая глина
и перепончатый платок
речь, перемычка, горстка сна!
когда как патока – осадок
избыточен, и всё что знал
потоплено в узоре складок

*

Эвтерпа матрица Европа парафраз
материковый! мотыльковый пеплум
в пакгаузах глоссария! лишь беглым
пустеющим окинуть взором вас
и самому стать скважиной. Дионис
сожмет и выжмет виноградный сок
из крайней плоти. хризолит и оникс
в изнанку музыки втираемый песок

«Скорлупу гитары проклюнь терпандр...»

Скорлупу гитары проклюнь терпандр
самос-тийных интерпретатор анд

анд под горку – лесбос да лыс архонт
в элевсинских куцах берут на понт

– то не дека гнется струна скрипит
по айдесским водам айда спирит

из эсдеков в дамки в вираж в декор...
отпевает в хаки хлопчатобумажный хор

хороши и феньки (колки менад)
рокирнулись пентюхи! музикийский лад!

Не зовут подельника певца зовут
птенчика трехнедельного разорвут

виват девкам с древками ЦОЙ! КИНО!
– с хрипотцой киникам стойкам накось пой

выкуси выкушай дреколья аккорд
лужниковский кукиш выкидыш соловейчик лорд

...Ах что они что они что они наделали. а они
те другие звякнув шпорами – слышишь оканье аонид? —

хлопнув дверцей пробочкой опрокинув столики
размочалив ДНК
по заштатным пленочкам (где их стольники роллс-ройсы
газовые пистолетики?) да никак

не нажать не выжать не вырулить брудершафт
с айседорой долорес йоко аннабель... будет, ша

Осовело на блаженный бессмысленный стратакастер так
помолись
на хай-фай гробик свежеструганный панк помочись

и шевчук и кинчев и прочие б.г. —
на губной гармошке на разодранной губе

«то не дека гнется струна скрипит
наебнуться хотца» – поет пиит

– скорлупу гитары проклюнь декан
Мельпомены лауреат ДК

наступает время календ декад

– на шестке клубочком свернись дружок
отвернись: лубочный идет снежок

Содом

1

ах в летнем за сердце схватись еще саду
как бы в эдеме в наклонительном к стыду

сожительства – вот так издалека
как отражение запружена река

наложница (ты здесь еще?) словес —
ломоть мой лакомка аттический порез

скоропостижный мой мучительный мяук
на живодерне отрешенных рук

с александрийским перстеньком где йод
такая буковка – коньками режет лед

лед високосный анна донный треск!
ума утопленник еще бы ты воскрес

– очес блаженных той трески в муке
я видел всадника и жабры на крюке

великопостных петербургских зим...
и тризны гололед как пить неутолим

2

ах в летнем за сердце схватись еще саду
в трезене? зальцбурге? – все вспомнить недосуг

где как живые поминальные в пруду
стоят деревья в оловянную дуду

скрежещет плакальщик и теплое еще
вносят факельщики теплое еще

чернильное любовное пятно...
что ипполит что аспид – все одно
– винительный (ты здесь еще?) ватин
ломоть краснеющий оптический притин

в дым домовит ушицы самосуд
то выбит из каретки ундервуд

по щучьему – как медальон – пьета:
красуйся град втемяшенный петра

порфиросной фиговой ботвой!

ужо не выкрикну но выхаркну постой!

россия – петербург россия – ад
но может быть россия – только сад

сад полнолуныя вырезка небес
и – дева-роза без дыханья. без

3

ах в летнем за сердце схватись еще саду
покуда в платьице такую же одну

не прислонили к деревянным облакам
вальсируй с мэри аллилуйя вальсингам

(в заупокойный эолийский звук
впивались саженцы разутые подруг...)

четвертый – с миром но четвертый – дон гуан
с бездонной анной – не чета богам!

– волшебной флейты ей привит был черенок
меж музыкальных – выше! – детских ног

– наверхивай на липовом спирту

смычком валькирии с чайнками во рту

раек кромешный спиритический поту-

сторонний камерный: я не увижу зна...

– элизиум странноприимный сна

4

ах в летнем за сердце схватись еще саду

и упади на снег с чайнками во рту

гиперборейский черновик чумы

листай как подлинник в гербарии зимы

в трезене? зальцбурге? – все вспомнить недосуг

...в осеннем умиранье петербург

в осеннем умиранье петербург

лебяжий пух не оперившийся – от губ

от уст зола – эвона куда!

ведет тебя высокая вода

– когда по городу задумчив... повтори

и в этот белый танец смерти раз-два-три

– что федре что россия – под ребро
взойдут в притине как горчичное зеро

от уст зола – эвона куда!

– гремучая стоячая вода

...и в-третьих с веточкой – Бог весть – опять – куда

Неточка

куда как тяжкое похмелье
 початый втаскивал рояль
ты на этаж столпотворенья
 вот – пробочкой опять разит

и я безумел от видений
 скажи и запрокинь мурло
покуда неточку-психею
 буравит жидкое сверло
иль лучше вот что – запечатай
 себя в объятия цыкут
ну... блевани как бы цитатой
 минута – и стихи свободно потекут

«наматывай веретено...»

наматывай веретено
 часы растительные комкай
над льдистой корочкой над кромкой
 одним усилием трепещущим дано
нам вознести немую речь тапира
 в кино где плещется тапер
позолотить останки мира
 целлулоидный шатер
растет растет любвеобильный
 и опадает как живот
тогда – смеркается. тогда лишенный тени
 вхожу в него как битое стекло
сомнамбулически как под наркозом
 смотрю – смеркается сеанс
и выхожу. и горлом (вот когда!)
 идет закат

Амадеус

Аркадию Драгомощенко

разъятых игр танцор ли асмодей
как бы резвяся и стеная
хромой стопою – в нотный стан
в листы разметанного рая

сухую беглость кто предал перстам
кишенье книжное страницы
вкушай же агнца плоть как нижнего белья
пустопорожний храм
как обращенье плащаницы
иль перечти Женитьбу Фигаро
он весел. вдруг... иль что-нибудь такое
пусть счастье катится как обруч обрусев
и не кончается качаясь

за огненной рекой тучнеющий исав
кичась виденьем гробовым, мотивчик
он все твердит его когда он сам – напев
нет оборотень нет иаков

разъятых игр танцор ли асмодей
а в остальном прекрасная маркиза
все глуше музыка таинственных скорбей

исподних клавиш преисподню —

се дар изоры – запрокинься, пей!

лицо моцарта испитое

навзничь

и в ночь идет и плачет уходя

«и не кончается»

Или/или

и он мне грудь рассек мечом
от уха и до уха
чтоб я как навуходоносор вкусным лечем
возлег на пиршественный стол
божественного донор духа

нет он мне грудь не рассекал мечом
от уха и до уха
чтоб я как навуходоносор вкусным
вознесся
облачком божественного вздоха

«что в вымени тебе моем?
ты сам – священная корова
пускающая кровь времен
на голове твоей корона
терцин терновых головня
на кой доить тебе меня»

да донор я и я песчинка
а он ума палата номер шесть
он будет есть меня на дармовщинку
как донора рот в рот дышать

восстань шептать и виждь и внемли...

нет просто – встань девочка
встань и иди

Фрагменты Орфея

1

на стогнах угольных впотьмах
петитом стакнутых палаццо
весь САНКТ – как бы ладони взмах
чьим пальцам ямбом каменеть
и лимбом снисходить и грезить
с подругой мнимой Мнемозиной
царапаться влюбленно в смерть

2

как челобитчик перед ней Невой – как подданный он
падал
на пепелище кек-уок
(растрачен в свитке рукопашном
наскальный петербург теней)
теперь пляши
огнеупорных башен
элегик, мать твою, и трагик

в падучей бьющийся Орфей!

3

аттическую соль лакал
се – остров Патмос не Пальмира
наволгший беломорканал коньячный пира пунш и пыл
в метро конечном скрежет пыли
и закадычный тот глоток...
...на сонмы струнных раскроили

4

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

и цепенеет идол бург
держава сывороткой хлещет
сам скипетр-Петр – как кровосток
на капище помпейских литер
 ладонью
 ущемляет плац
 подруга очи разверзает:
Чьим пальцам ямбом каменеть
и в нимбе зыбком ужаснувшись грезить

«куда еще всего себя ты вложишь...»

куда еще всего себя ты вложишь
всё в щелк да в щелк
машинописных альвеол и клавиш
смесительный снует уток

в тираж выходит сукровица
и вывихнутая стопа
как машенька к подножью жметя
александрйского столпа

ужель шелковицы ей поминальной мало
печатных плит воздушных сот
не сеют и не жнут ямбический обмылок
но извергаются с высот

в сетях и нетях психотропных
задушенные имена психей
и чем стропила выше – струпья
столбов содома солоней

се, плотник мой, слюды и дыма
вальс с поджелудочной слезой
...что рушишься бесплотной тенью
предстательною железой

«Голый завтрак». Премьера

се – завтрак на траве он голый
он в складчину разделет
за обе щеки ветреную голень
уписывает менюэт

в воображении и только
как посох тросточка цветет
лицо присыпанное тальком
вакханки бородатый рот

и в хороводе мусикийском
приняв на посошок
так и стираешься с возлюбленной
актриской
в астральный порошок

и – кончено погасшим стэком
в партере уголь ворошить
а мондриану двух веков на стыке
парадный саван шить

здесь ноготок его прошелся в лайке
а все же есть
раз выстроилась по линейке
свалявшаяся мира шерсть

так в оркестровом свальном мраке
теперь станцуемся мил-друг
прилаживая мертвой Эвридике
надраенный мундштук

«Обмелело все, что мелеть могло...»

Обмелело все, что мелеть могло,
обмолот при Милетах, при нас – огло-

бля, скажу и в жмурки пойду играть,
собирая подать с петровых Кать.

Отыкалось им и вошло впритык —
Екатеринбург, и мин херц, и дык

ёлы-палы; все, что могло линять,
истекало околлоплодным ять.

А на ижицу как насадить язя
да с фитой по Яузе, кабы лязя...

по усам в Париже текло бы так,
как из сказки помнит Иван-дурак.

.....
.....

Обмелело все, что могло мелеть.
Остается во мгле, хоть ни зги, неметь.

По-немецки Бог-Нахтигаль, соври,

отпуская Гретхен грехи с иври-

таг-а-тет мне пела про тот исход,
обломился которым кронштадтский лед...

Кенотаф

I

Свободен путь под Фермопилами...

Георгий Иванов

Дыша как дышится – толковым словарем
на толковище безударном,
где ять и ижица, униженно вяжься...
Как им на горло песней наступили
(О, если б Песнью Песней)
санитары-краснодеревщики, Аз, денщики,
воспрянувшие радостно у входа в разогнанную
Учредилку, те,
что учредили для бытописанья
подобие диеты пуританской —
по-руссоистски приспустив портки
как западникам, так и русофилам
(Кириллу и Мефодию).

Кириллиц

дружины добровольческие шли под трибунал,
под гарнитуру таймс в створоченной
фасетке. Но дышали:
как дальнобойным эхом из Парижу контуженные

мальчишки – картечь, ком.патриоты, юнкера,
с начинкой разнокалиберного различия, —
заколотые опосля в райке,
в том, достоевском, в доску поминай
как звали, не увидевшие «Федры»
в дистиллированные Цельсием бинокли
армейские, с обратной перспективой,
всклянь налитые дисциплиной смерти,
обороной
консервов твердой крови,
плазмы вшей окопных, взматеревших
на поминках по стратегически-соборному
сырью, клиническому донорскому долгу
словесности отечественной. Амен.
Иль в самом деле оказался прав
от православной церкви отлученный

боярин, призывавший: миру – мир,
земля – крестьянам, хижины – дворцам,
а небо Аустерлица – Андрею
Болконскому; и что в Эгейском море
нам нечего топить, кроме цепей и эпоса
Гомера?

...Когда бы я не видел эти игры

коллежских регистраторов, с повинной
являющихся к смердяковым власти...

Одна отрада: хмурый Ходасевич
повелевает умереть отсюда
ночными и безумными словами, разящими —
как бы мираж
в пустыне сей. И я это
увидел.

Прощай, прощай. Не помни обо мне.
Но, ижицу с фитой храня в обойме,
склоняй тех, в пыльных шлемах, комиссаров
к классическому правонаписанью,
классическому.

II

Тайной вечери глаз знает много Нева...
Велимир Хлебников

Откуда готика, откуда прежде сны,
откуда рог возвышенной луны,
и хвойный дух в лесах белопогонных,
и снега идут. В зеркалах – темноты,
и пропуски в словах; Санкт-Петербург,
ума единорог, откуда морок
второразрядный, инфлюэнца, насморк
и кенотаф из скандинавских плит?
Избыток, патока несбыточного рая,

твердыня и цезура мира,

крен

балтийской синусоиде.

Харибдой

и Сциллой промеж ног прыжок и фрахт,
и поворот винта суицидальный, – вся
подноготная. И причащение
булыжником с бумажной мостовой.

А что пенька и лен в твоей Тавриде?

В скалистых фьордах фолианты Фрейда
листай, там все написано о смертных,
торгующих деторождением смертных.
Нуте-с...

В оранжерее разоренной

Биржи

раскрой объяття залетейской стуже
и яблочком катись по Малой Невке,
на частничке к Некрасовскому рынку,
к подстриженному аглицкому парку,
где вреден Север, где скрипят полозья
как армия писцов нотариальных.

Здесь похоронен неумытый князь.

В камзоле? В тоге? Прах

ни отряхнуть, ни вытряхнуть.

Санкт-Петербург ума,

откуда готика, когда еще не назван
никак, – но существует? Существовай!
Как ты да я, как гений и злодейство.

Откуда готика? Откуда прежде сны.
Откуда рог возвышенной луны.
«Все, кто блистал в тринадцатом году, —
лишь призраки на петербургском льду».

И хвойный дух в лесах белопогонных;

подошвы чуют гуд грунтовых вод.

Лето 1990 г.

Искушение св. Маркузе

Как умершие близкие порой являются во сне (а мы трусливо им зажимаем рот, иль прогоняем, плодя тем самым мертвецов вдвойне), так он бы мог отдать визит вторично. Но не отдаст. Как малое дитя, капризничает и не хочет слушать родительских увещаний, просьб и все косится на свои игрушки. К тому же, иудей. А иудея возможно наказать, принудить силой, в конце концов – распять (как в пятиборье), или раз шесть (тогда с шестом и с мамкой), но – переубедить? Заставить верить в то, что считают здесь необходимым старейшины? – и новая обида. И отвернется. И забьется в угол. И слова (Слова) не дождешься; и к обеду, не то что к евхаристии, успению, иль пепельной среде, не дозовешься.

Обрядов нам! у нас нужда в обрядах; в «агонии лучистой кости», в мозг ранении, в святых мощах, в агитке апокалипсиса, в заведомо шипящих согласных в светопреставленье. В теме, промокшей и обобранной до нитки. Соборов нам! у нас нужда в соборах,

как чучела, набитых требухой
и чем попало с той еще рыбалки;
но только не сознанием правоты
исполненного. Да и сам он разве
не потрошитель, патриарх цикут,
не арестант, не плагиат санскрита
с девизом Вед: не ведаю, Сократ?
Не алиби и не сладчайший пай-
мальчик, цианид литературы,
от пирога наскального: перо
Симурга, заводящее дуплетом
в дупло Сезама и Платонов Год?
Червивого не дегустатор сада?

Козырного, на яблочном спирту,
вольнотпущенник императива,
тогда как сам – не сад, не тигр, не Тот?
Не император?

Не икс искомый в уравнение
света, решенного, как умножение тьмы
на тьмы и тьмы нас? Мысли-мы-ль, Паскаль,
такое ампула, такая бездна, такой продукт
распада; циркуляр с тысячелетней амплитудой
цирка, смотрин на гладиатора плэй оф,
на Федра, Федора, в смирительном, смертельном
мешке, на ТЮЗовском плацу, подмышку
с чертом и Мышкиным. О амулет-стигмат,
нательный крестик в омулевой бочке,
что столько лет спустя, но докатилась до дна

второго. Чем не Диоген с сакраментальным кличем: к человеку! (У нас нужда в героях, Геродот. Хотя бы в трех. Но чтобы – мушкетерах.) И в человеке. И в муштре, муштре — как мере всех вещей.

Куда уж, сынку,
в такой содом с подвязками. Небось,
кишка тонка. Как доказал Джордано.
Он в Капернаум не был ли ходок за черным
солнцем – «всходит и заходит», – и он взошел.
И многие взойдут. Как, например, киты-самоубийцы.
Где плащаница Млечного Пути!
Дай, развяжу пупок у Птолемея —
такой короткий потолок ума! —
центростремительный.

И центробежный,
как оказалось...

«У терминологических лакун...»

О зыблемая гладь студеного потока...

Поль Валери. Фрагменты Нарцисса

У терминологических лакун,
как в термах инкубатора – лаканов,
но что Ему тот шлейф улик в веках?
В числителе не вычесь семиотик;
у ласок Гебы привкус-ротозей,
а знаменатель – заземленье в мифе.
Так дышит мнимость; прерванный плеврит
на самом склоне эластичной шкурки,
«шагреновой» и скважистой, как «бульк»
у полости, защелкнувшей реторту.
Молочных десен мыльный разогрев.

Возгонка (поименная) в наличник
закупоренный: горлышко греха,
бессонниц, молоточками истомы
раздробленных; кровосмешенье; блеф
плотвы и крючкотвора-псалмопевца.
Инкуб с инкубом – ангельский ли стык?
Из мертвой точки смертного влечения,
восхищенный до откровенья вор,

и сам похищен хищнический голос:
молчанье грезит о самом себе.
И только. Как Нарцисс водобоязни...

Рассеченный девизом

В сад ли войти – в продолжающий грезиться слепок
райского сада, его расходящихся тропок?

Скриптор должен скрипеть: посягать
нежным скипетром-флагом,
перегонять влагу имен в эпиталаму.

В ночь ли войти – как в склеп с фамильярным девизом:
«язык мой – кляп мой и скальпель»?

Мерцающая завеса.

Сад-гербарий, скрипторий, силлабо-тоник...

Будет тебе тактовик и дольник, пока я – данник.

Приподыми за волосы дождь и виждь:
листопад-отец, снегопад-сын, алфавит-вождь
(триумвират, о котором молчал-кричал Парменид,
о котором кричит-молчит мой забитый рот).

И значит – за полозом санным, по пояс,
ползком,
задыхаясь и хлюпая посткюхельбекерским носом —

Та же задержка дыхания в медлительных ласках;
медиум-тело читает по линиям жизни
с тем, чтобы плод, раскрываясь, гранатовым соком
вытек, как глаз.

Многолиственным зреющим зрением
будет отныне всякая – детская – плоть.

И вот уже кто-то другой, рассеченный
девизом, уязвленный отсутствием нужного образа,
произносит: Только евангелических ангелов
полет следить – следовать до конца;
только Тору читать – целовать твой рот.
(И удаляется, медленной, исчезая, походкой.)

Колыханье. Ивовое
двуперстье ветвей

Не знающий – дерзок.
Знающий – мертв.
Мертвому ль женское жалкое нежное вымучить

тело? Тот же исход для него в снегопаде
и в теле.

Милая, кто ты?

Никто – отвечает, – я есмь.

Есмь: немотствую, снюсь и рисую. Ладони, глаза,
срам, совокупление со смертью, все, чему научили меня.

Кто научил?

Те, кто спрашивал прежде...

Лед. Таянье льда. Откуда,
откуда сфера, мимо которой – мимо – время
проходит, не
задевая

снюсь ли я вам в снег – в листопад – жизни

Делириум/фрагменты

...Мы – стрелки, ползущие слепо к вершине ночи.
Георг Траклъ

(...) убыль убиенного эхо. лот,
каменем падая в забвенье пращи,
зачинает неведомое, ведомый
мерой «падения»; дочь входит в него. и снова —
дочь, другая. Тьма дочерняя, низвергаясь,
покрывает Израиль; лист
воскурят утопию
к небесам, книга
вопрошает огонь блед, облизывая язык. Племена. Откуда
убыль
в сих пустынных местах,
народ мой? Даже воспламеняясь, я не произнесет больше
«я»; пригуби шелест этой травы ниоткуда: пагуба
пыли. Распыление. Рот мой. Зреть,
как полыхает зима, как
раскрывается, сотрясаясь, плод пустыни,
горчайший.

Неизмеримость.

Низкие

облака. Облатка «александрійской» зимы; опьянение,
как если бы – никогда. Черным крылом помахивает ночь,
как если бы водрузилась на бюст богини. Буква

плача

пред-восхищает поэму, прильнув
к плечу отсутствия. Кто немотствует здесь? Потлач,
он сказал. Это когда некому, но его
поправили – никому. на бумаге
всесождение напоминает

(ничто

напоминает ничто) упражнение
в поминальном искусстве; жанр, чей стиль также
«сделал стихописание *бесполезным*»,
курсив его. итак,
продолжает она, фраза, плач, или стена, льнет
к метонимии. он вкушает

пряную прелесть ее

межножья: так нож

возносит

молитву белизне теста, терзая; буквально было бы
«я люблю тебя» – ключом во влажном
отверстии замка повернулся язык,
выплывавая и повелевая, к кровосмешенью, к завязи.
Перед стеной огня она кончает, жить
бы буквально было

I

как зима,

тринадцатое, мы выходим
на лед, еще светать не начинало,
и на губной гармонике с немецким
акцентом он наигрывает: ах,
мой милый, и так далее. А после
все елки, все шары, вся мишура,
вся чепуха, все елки с планетарным
девизом выпренним – в один
шатер. и...

нет, не всё, еще не всё,
ах, и так далее; как вспыхнет —
и «ах, мой милый августин», и

(...) чистый призыв, говор смертных. светлы
одежды странников; облаков белые свитки.
Из беззвучия восстает тонкорунный
ствол мелодии, паутину плетет шелковичный червь,
пожирая маковые зерна письма; рука,
мимезис. Тонкая изморозь на деревьях. Курить
траву, проникаясь пылью
пыльцой расцветенных кимоно,

никнуть

долу,

исторгая безумие; ночь нежна. И
ни капли дождя. В легких – проникновенный жар,
пелена рун печальных – в глазах; ресниц мятный озноб
колотит пагоду нефритового стебля, входящего в шеи
медленный разворот, ах, как ворот теснит
сон, бездыханен. Пей

плывущую вдоль пустоты звезду.

Пыль. Как странны

прядь, распускающая погоду,

сегмент стекла, пение. Фрамуги

фрагмент. И

течет Иордан. Но вновь

окликает черное кружение кружение птиц,

их стигматы, светоносного отрока с кистью

женственной, в желтеющих лунах, се сестра!

Рождение рассветных теней.



любовь?

а что любовь – нечаянно нагрнет

кривой иглою в сердце



II

Но эти танцы у огня огня

испеление роенье
над схваткой родовой играй
сбор траурный для урны праздно
единорог пироманьяк мефисто
«библиотека в сущности притон
пусть и александрийская гетеры ж
подобно бутерброду или книге
но тоже норовят упасть ничком
или раскрыться на пикантном месте
и в каждой буковке презренной алфавита
отеческой отечный Бог живет
и выедает то что повкуснее
как червь червленых уст спиритуал»

«так ментор лейбниц лейб-гусар монад
над или ниц но с тиком математик
и с ментиком бессмертия в уме
– держу в руках как череп гамлетизма

и взвешиваю бедный» ах

испеление роенье

салютовали задираньем ног
во глубине сибирских руд колодца
картезианского не то чтобы смешно
шалун уж заморозил пальчик
как сменовеховец махно
и всех и вся слепая сила мнет

и всех и вся кладут в двусмысленный пенальчик
не искушайся друг петрарки тасса друг
без нужды
и вообще
БЕНЗИН!

над схваткой родовой играй
бессмысленно как камикадзе
кричат блаженные банзай
мучительный истошный комик
за ахеронт пронесся он
не венценосец – алкоголик пневмы
за тем что не избыть плерому травмы
и не исполниться
и не исполнить
ах, мой милый августин
августин августин
ах, мой милый Августин всё прошло

всё

Ш

НО ЭТИ ТАНЦЫ У ОГНЯ ОГНЯ

мы в оптиной как постояльцы как отцы
любовной бойни аспиды аскезы
пустыня оптимальная. а я
а я великий в той пустыне бражник
муссирующий аппиевый тракт
как бы калигула
последний грешник
на кали-юге на пупе
как муссейон – и в розницу и оптом
центурион на медленном коне
(прощай прощай мой август августейший!)
косская тень филета сука
слышу вижу тебя в петардах эзры.

а они сказали нет один

кто-то сказал пойдем
я покажу агнца в чалме и агнца
в шлеме
и сорок четыре приема любви
и сорок четыре приема смерти
(но я
не вижу повешенного)
утешься

этой тщето́й утраченной звучной
устраненной ненужности
нежности безделушки РТҮХ
и клюв птаха дрожал. тот
бог брал пункцию у меня: пиши (но я
не вижу) и тогда я сказал «хочу

умереть

IV

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.... и т. д.

Апрель – июнь 1993 г.

В повторном чтении

«Руки гипсовый слепок тенью...»

Руки гипсовый слепок тенью
фетиша промелькнет в повторном
чтении; еще одна ночь, какая по счету?
Как долго длилось повествование
с тайной целью отсрочить смерть?
Как можно вождесть к метонимии
самого себя?

Детский и безрассудный опыт
любowników, поверяющих темноте
пыль имен. Безымянный лепет;
всесождение, сон. Дароносица,
чей рот полураскрыт,
подобно ргутной
тяжести, прольется сухим
прикосновением – в самое себя.

Вот когда
произносят: псюхе,
скиталица нежная... Но ты уже спишь...
Телу гостя и спутница, ты уходишь

в края блеклые; там ряды
кресел над пропастью и огромный
экран рядом с известной тебе скалой.
Во сне никогда не бывает солнца.

Изо рта, уже нисколько не женского,
вместе с хрипом, напоминающим
агонию мумии, повисает
стекловидная нить слюны. На устах моих
она будет сладка как мед, но во чреве
горька – как мужское семя.

Эринии, облепившие ветровое стекло
автобуса, подбирающего Ореста,
следующего из Аркашона в Танжир.

«Распада меланхолический страж...»

Распада меланхолический страж,
в руинах парка
он размыкал колени безумию: слюною склеить
шквал веретена, вереска пугливое стойло.

(Мгновение, в коем сущность ночи
близится как иная ночь.

Мнимая тень
стрижа в стерне,
положенной трамваями в Стрельну,

дхармы беспроволочный телеграф, ключей связка, серьга
в левом соске, фольга междометия;

черное

успение солнца.

Таковы приблизительные структуры родства.

Механический менуэт, сомнамбулическая пантомима
с разрушенным предметом в руках.

здесь сокровенное, только миг, свет отсиявший.)

Искус

желать: жжения в венах, запястьях перебродивших
вина, запрокинутых.

Принцепс из гамлетовой табакерки, в висок, в пах.

Крысой, восседающей на холке свиньи
со съеденным на полпальца ухом, выходит
на берег гнилой залив.

Пассажи

*...ибо люди часто впадают в ошибку слишком
строгого различения.*

Райнер Мария Рильке

разъятой тени фимиам,
украдкой, точно так, в забвенье жеста)

Печалюсь. Украдкой, точно так,
как в складках жеста
танцующего веер, набухая, медлит
растрескаться,
когда пустой рукав (трофей, изваянный исчезновеньем)
ищет опереться на

присутствие,
а сам уже влачит не толику, но все убранство
утраты, всю сейсмическую дрожь,
и, расточая грезы
оползень, внезапно рушит
смерч шелковый разящих планок, весь! —
так гребень твой (твой траурный)

сплошную тяжесть, пагубу
 волос, впотьмах погубленных. Так
 просто. Гребень твой. Прогулка гарпий.
 обугленная Эвридики тень.



и он, рассеянный и «бесконечно мертвый».
 Но и потом, в урочищах, домах, постелях, капищах,
 склоняясь, раскачиваясь над ним,
 медленно, как четвертый всадник, как тирс
 карающий, – поднимая волосяной сетью месяц
 из стынувших вод: пентакль транса. Разъятие и
 расчлененье.

«Теперь, когда ты вся затворена
 нездешним, насытившаяся, припомни – так ли
 рассказываю?»

«Запах настоялся
 настолько, что потом, припоминая,
 я различала на твоём плече границу с чем-то
 потаенным, как если бы отпрянул ты,
 меня побеспокоив
 напрасно».

Ужас.

Кукла. Ибо люди часто... и т. д.

Витрина – разбитая, как сноп зеркал; он знал
лишь шлейф пустой исторгнутых значений.

Остров мертвых¹

Очей исполнен этот омут птичий...

Они, низвергаясь отвесно в мерный огонь, рулад
штыльную, так печальны, как после «вечной
любви». Взрываясь хлопаньем бесшумным крыл,
испепеленные
лампіоны, птицы застилают лицо экранной дивы, и нам
падать в эти постели, сестра двулика

(или так: постели им в безмолвие и покой

еще тише и ниспадая
истления шорохом в сводах ночи). Раствление.
Сантименты. Россия

выпадает из памяти,
как роса. Но разве он, восхищенный, забывает,
что помимо домогания и любви
есть недостижимая тщета обоюдной ласки, помавание
боли, когда, обретаясь в смерти, смотреть
смерть? Многоочитая падаль, пусть

¹ Макет «Острова Мертвых» представлял собой финальную часть «Автобиографии» Пизани, а ее предшествовавшие этапы были связаны с инцестом и андрогинами. Аллегорией инцеста служил фотомонтаж с изображением пирамиды у входа на римское кладбище, совмещенным с репродукцией с картины Ф. Кнопфа: Сфинкс с лицом сестры и возлюбленной художника, который ласкает Эдипа. (Здесь и далее примечания автора).

пляшет ампула в ледовитых венах, раскинь
кукольные тряпичные руки, ни хуя себе. Луч
проектора пел, как одна уже пела в церковном хоре, у
каких таких врат, в какое пекло.

смотри сказал я душе
миракль гейша псюхе пропахшая псиной
киношных кресел смотри оспиной льда покрываются
острова блаженных

были да сплыли
переплывая экран, опрокинутые в ничто. Шарканье
граммофонной иглы, прейскурранты

в перспективах песка, заройся в пение
дальнобойных сирен, молчи что есть мочи. И те,
что сидели в зале, переплывали «смерть»,
другую, опрокинутые,
вслушиваясь в безголосый шелест распада; их
исполнили гравировальщики Мнемосины
татуировкой забвения. Бейся

потусторонней льдинкой в стручке
виски о бокала висок, или
прижимаясь ссадиной к конькобежной стали.
Каменноостровская пыль. Речь – распыление,
распыление – речи, перенесение с «цветка на цветок». И
нам уже
не поднять глаза.

Алле Митрофановой, май 1993 г.

«Красный мост. Солнце...»

Красный мост. Солнце
опрокидывается в Китай.

На челе скалы – экзема душистых цветов.
Для других это будет почему-то Шотландия
(у каждого путешественника своя
мифология смерти).

В бетонированном туннеле детские голоса.

Японец снимает японку видеокамерой; она
несколько смущена, ровно настолько, насколько знает –
другой
вторгается в интимную
сцену. Другой? Другое.

Тени в заброшенном бункере присели на корточки;
сигареты,
стволы в потолок. Трассы
орудийных платформ.

Помедли у этой пинии; вот рука, вот
безымянное пение чуждых пальцев.
Мотоциклист (шлем, черная куртка – колючая
музыкальная рыба), спешившись, звенит колокольцами.

Отслоившись от темноты,
прокаженный,
он движется со смотровой площадки
вниз, к тихоокеанской воде.

Ты там уже был. Что ты видел,
глота ртом пустоту? *Golden Gate Bridge*
красного цвета, город,
раскрытой раковиной белеющий в темноте.
Холмы. Жемчужную нитку
автомобильных огней; зеркальный шар солнца —

кровь

отверзающий океанос.

Пламя Кассиса

Где еще исчезнуть полнее
мысль влечет о пении сокрушенном
Сирен, как не в самом же исчезновении?

Напиться красным вином в семь утра.
Как раковина, гудело лицо,
слепок нумидийского ветра; и милый друг
на камнях лежал ни жив, ни мертв,

совпав
с собственной тенью. Пал
вечер.

Стефан, «сумасшедший пилот», гнал
машину в Марсель, мы тряслись
на заднем сиденье – по золотой монете во рту
у каждого; опущены стекла, сигарета
за минуту езды на ветру истлевает, и рука
промахивается, потянувшись за пивом
на доньшке банки. Это и есть

тот свет. Бесноватый
гул мотора и колоколен.

Горы уже не горы, – закрывает глаза
Драгомощенко. *Hills are not hills. My heart
is not here.* Забыт купальный костюм.

На догорающем снимке
волнорез, тела без органов в саркофаге
«Пежо», мыльный привкус
непроизносимой вокабулы,
баранкой руля

вписавшейся

не в поворот, но в десны. («Зарезаны
нежные образы», миниатюрная Бенедикт, бензин
в капельнице, купель Пантеона, великий
Пан.) Ошую – складки,
скомканные рукой Делеза,

как простыня;

выжившая из ума антенна
пропускает нить в ножницы скрежещущие слуха.
Потом, потом.

И горы – снова горы.

Кафе терраса. Скатерти белые
взметены; убывающий
потусторонний свет. Бирючина, эвкалипт.

Фредерик бирюзовое горло.

Бокалы преломленные. Ночной
бриз; близорукое расставание в римской
курии,

где ничто

не воскуряется в пиитическую лазурь,
разве что пыль.

О глухая, темная
лава виноградной лозы,

словно гребцов сновидением
удлиненные весла,

когда их осушают, вздымая,
приблизившись к лигурийскому побережью.

Треск почвы сухой. Ящерица
застыла на камне. Синие зеркала холмов,
лопасти, львиные пасти солнца.

Вереска власяница, задравшись, обнажает
ступню; что он зрит?
Кипариса веретено – в коленях
Мойры склоненной.

Полоска пепла на лбу.

Ибо здесь умирает речь,
в истоках мира.

Костры черные птиц.

Полнится золою зрачок.

1994 г.

«Неведение. Удивленье...»

Неведение. Удивленье,
что увиденное – лишь тень
ускользающего в «ускользание»
промедления.

Увяданье
эха, расцветшего немотой в обрушенном
слове. Словом, тень
тени, мысль

помысленного. Под сенью
вросших в смерть, стенающих сосен.

Отторжение; неслиянность
отражения и сиянья. Неосиленная свобода
в «промедляющем промедлении».

В лиловеющих небесах, на стыке
суши и вод,
где,
кинжалея звездный планктон,

кричат чайки.

Отречение от реченного. Отвлечение
и отлив; безразличие
пустынного берега.

Ветер гонит

под дых

полузатопленный плот
в глубь залива. Потусторонний
вдох и выдох

колеблемых створ
лунного бриза.

Только жест
со-присутствия,

в зыблющихся песках оползающей жизни.

«“Куст несгораемый” или шлейф...»

«Куст несгораемый» или шлейф
растушевки в мнимом пекле пейзажа,
непостижное. совершенный
шелест архитектуры огня,
танец, пожирающий совершенство. вот
нагота, вот зодчий
воздвигающий наготу:
белое,
как сказал бы
погруженный в белое
каллиграф

вознесенное. вознесите
то что есть тайна в вас тому
что есть тайна в себе. Вот я вижу
в точке кипения вмерзший
глетчер,
эхо,
вибрирующее в текстуре
смежного. знать —

как веки смежить, быть замурованным в абсолют,
в алмазные соты.

Пока не уйдет в тишину зимы

в шахту пепла никнуший
голос, орфик

сошедший

в ортопедический ад: клешня,
торс или затылок Бога. Воздвигающий пустоту,
«куст несгораемый» в отсутствующем пейзаже,
непостижное.

вот и я о том же, проникновенно
никнуший голос, в стропилах, снегом
занесенного чайного домика – безучастный

мерный веер беззвучной речи

Безумный Пьеро

Мрачный пафос, отчасти сентиментальный, отчасти циничный, что, возможно, одно и то же, торжествует в финале. Тогда как в целом это смешной, смешнее некуда, фильм.

Капкан истории. Уголовный жаргон... библия, потерянный синефила рай. Годар тогда еще был влюблен в красный автомобиль, а не в интербригаду, в скорость, в Анну Карину.

Мелодраматический флер. Нелепая театральная смерть в бесшабашной (по нотам разыгранной) перестрелке. Очки солнцезащитные, балетное па. Пуля, отлитая в Голливуде, убивает больше. Что на самом деле тревожит, так это отсутствие так называемой «любовной сцены», искушение опытом. Отсутствие совращает перспективу, тогда как последовательность событий — фальшивка, подобие. Подобно Джойсу

Годар предпочитает двусмысленный пародийный монтаж зияние и в смерти человеческое ускользает

разноцветные динамитные шашки
к которым Бельмондо спичку подносит
смехотворный и вероломный жест
лучшее тому свидетельство крах
классической парадигмы сказал бы критик

...Истлевает белая сигаретка
в уголках асимметричных губ
самоубийцы Пьеро – с лицом
будущей кинозвезды. Как и Марат,
он лежит в ванной, но – читает.
Нечто о Веласкесе, возможно, Фуко,
описывающего в «Слова и вещах» «Менины»
(на ум приходят плоскости Пикассо). Повторю:

насилия и не ждали. Годар
тогда еще был влюблен в красный автомобиль,
в скорость, в Анну Карину. И знал,
тогда уже знал, что человек
никогда не совпадает

ни с собственной
смертью, ни, собственно, с бытием.

Короткое танго

Марлон Брандо говорит по-французски,
и ничего не говорит. Грохот
сабвея, моста медленное сверло.

Ласка, кремирующая ответный
безблагодатный жест. Она
состригает ноготь на пальце,
входящем позднее в его промежность.

Он преследует некую неочевидную цель,
отнюдь не идею... У любовника его мертвой жены
халат той же расцветки, что и у него самого.

Не двойничество, но насмешка
банальной женственности, наивный
сарказм (различие стерто задолго до
сакраментального последнего шага
в ванную комнату с опасной бритвой;
она красива – в цветах, в гробу).

В окне напротив темнокожая —
как из воска – фигура играет на
саксофоне; его подруга сосет
мохнатое жало долгой ноты,
нет, пронзительной и короткой.

Танго с голой
задницей, танго.

Он пытается ее,
девочку с мальчишеским торсом. Условие
принято: никаких имен, никаких
дат, историй из детства. Разве что
танец, – и рикошет
пули,

обрывающей никчемный экстаз,
гаснущий фейерверк безмятежной плоти...

И этот крохотный
влажный кусочек
жевательной резины с мертвой слюной

на внутренней стороне балконных перил,
который он оставляет: жалкая
белесая точка,
мерцающая в темноте финального кадра.

Фотоувеличение

Химикаты пестуют
зернистый экран; покрывают слизью
(слюни дьявола) новую фотомодель. Но он
уже захвачен другим.

Отверстие приникает к земле.

А труп,
был ли труп, или это пустое
вопрошание, подобно тому как парк пуст,
где ветер словно бы обретает плоть
узкого лезвия, как изнанка листвы
в черно-белом отражении объектива, ложащаяся
плашмя.

Это – он настаивает – пустое
место лишь предвестье той,
другой пустоты; метафора,
не лишенная метафизического подвоха,
соблазна истолковать
то, что не поддается
истолкованию.

Присутствие – здесь он делает изумленный
шаг в сторону, заслоня ничто, —

не принадлежит ничему. Обладать
(любовники так не позируют)
камерой – нечто большее в той игре,
где разыгрывается «реальность».

Затвор щелкает. Если бы
не затвор,
затворяющий эту «реальность» в образ,
картинку, прикопленную к стене,
он бы никогда не проникся
странной властью исчезновения.

Мы в Англии и нигде.

Киноглаз

1

Агирре, гнев Божий, поет
индейскую песню. В скважины перуанской флейты
хлещет христианская кровь.

Листва. Солнце.
Бесшумно
за борт падает часовой.

Беглец никуда, ниоткуда, Кински,
помутившийся кинокамеры глаз
трахает невинную дочь.

Ей пятнадцать, регулы; солдатня
принюхивается к запашку.
Отверзая живот, копые пятнает
девственную белизну платья, ставит точку
в интимной истории страсготерпца.
«Придет смерть, у нее будут твои глаза», —
щебечет смехотворная плоть.

Но История длится.

Разумеется, его смерть —
это смерть конкистадора.
Великолепный горбун, карбункул,
одним словом, перл в испанской короне.
Штандарт, расшитый золотом инков.
На жертвенном камне распускается пунцовое сердце.

Агирре, гнев Божий, поет
индейскую песню. В скважины перуанской флейты
хлещет христианская кровь.

Листва. Солнце. Медлительный
свинец реки.

Отравленная стрела

в шейных позвонках командора
вращает непотопляемый плот,
Ноев обезьяний ковчег.
В мертвой точке вращения пейзажа.

В спокойной точке обращения мира.

И в смерти он грезит об Эльдорадо.

«ЗИМЫ КОПЫТО, ТЫ, И КОПТСКОЕ ПИСЬМО...»

Зимы копыто, ты, и коптское письмо,
вся в скорлупе птицеголовой
рука, что под стеклом разбужена
водить и выводить экзему мельхиора
с ковша – нет, не Медведицы – сиделки
в осоке охристой с бинтами воскресенья.

Он с греческого переправил ил
в низовья Нила. Буквицы и птицы.
И поднялись как ивовый клин,
и вспенили страницу словаря
несуществующего. И восстал из мертвых
не оперившийся еще Гермес.
В коленях рода нет ему склоненья;
он третий лишний взгляд не отведет
от дельты той, где сигмы локтевой сустав,
пронзен тупой, как наконечник, болью,
где коченеет тень равновеликой,
отброшенной
от псалмопевца с цитрой,
с повязкой траурной в раздвоенную ночь.

Он отпустил колки и наколол

ее ложесна, что зернулись вчуже,
в расселину сетчатки. Петь так петь в снегу.
И он ослеп.

Бог пятками сверкал.

Исполненный очей все тот же кочет:
китайский – лунный – високосный – мозг.

Гермафродита заячья губа
не дура, «Бавель», шепчет, «Бавель».
Смешалось все; у голоса плюсна проклюнулась,
и в междуречье щиколоток
теснимая толпой менад впадает речь —
в столпотворении теснимых знаков
на верстаке верстальщика: он правит,
как костоправ, свою судьбу.

Въезжают

всадники на глинобитный двор,
шукают первенца, семью берут за жабры,
и жгут костры, и вот уже в воде
танцорами привстали в море Мертвом на стремях.

Не что-то, а ничто, морской прибор
нас гложет, как толченное стекло,
что теплится Невы, как на рассвете,
когда картонки собирает бомж в обмотках легких,
с харкотиной, расцветшею в петлице дикой.
Набравшему воды в тимпаны рта
ни зеркальце тогда не подноси,

ни спичку, милая.

Анчар

Как гаубица-голубица Пушкин прянет
саарскосельские заупокойные пруды
голубить и губить и тратить слово, оба-два
что тульский бородатый пряник
в качель его туды
где оловом зальют и эти губы, что теплятся едва?

как гаубица-голубица
копытом детским седока
он вынесет на свет зловонный солнца
за Хлебниковым вурдалака Ка

как гаубица-голубица... хуже!
за что так током бьет гончарный круг
на коем Троица – как бы тройник черешен?
когда ж по венам брызнет сладкий сок
и смех Петрония и – Боже —
два пальца деве-розе в чашу в лепесток
тогда окажется что, черным занавешен,
вращаешься легко сам-друг

«что уголь в трубке черноглазой ворошить...»

что уголь в трубке черноглазой ворошить
что провод телефонный
садись Наталья саван шить
какой по счету? энный
кабы знать как милого дружка приворожить

кабы научиться вам блаженные слова
но укутанные в ледяные шали
имена их теплятся едва
и любовников что в темные аллеи
удалились – не дозва...

но достанет их из-под земли
каблучок французский заступ жало
милый ангел Натали
неужели
так-таки и стан осиный узкий
Незнакомки замели?

затем что так полулегка
смычку тому еще послушна
пускай прозрачные шелка
падут неслышно

как слепая ласточка в горячие снега

апрель 1994

«где выставка цветет как Климт...»

где выставка цветет как Климт
танцующего тирса
не оторвать от той ложбинки уст
что женщину каленую клеймит
когда одна и обнаженной торса

и нижеет нижеет нежный зуд
мать соблазняющая к смерти
как сходят медленно с животного ума
в окна распахнутый живот
так по ступеням в тридевятом марте —
о чем еще она поет? —

«и ты сердешный в сердце тьмы
египетской изустной
в залоге сострадательном ходьбы
подставишь мозг ширококостный
под перочинный ножичек холста
раскрашенный как девочки уста»

Пирсинг нижней губы

*что в имени твоём одна буква всегда мне
казалась лишней тогда как двух других не хватало
алая алая буква или снисхождения*

а. _____

«Ты не согласишь, но я кончала,
когда сносили эти дома
на Остоженке».

Сидела у окна и кончала; шар,
пульсируя на нитке, продетой в иглу
пейзажа с веткой сухой рябины в помутневших зрачках,
крушил ампирный фасад империи.

И я верю, но, как слепой,
вижу лишь каплю влаги над верхней губой,
которую слизывает сценарий.

Марлен Дитрих ставит нас под заезженное ружье
конца тридцатых: тоталитарный шиньон блондинки
вальсирует меня в оккупированный Каир.

Ты – карий

косящий глаз

поставленной по второму разу пластинки.

Крысы пустыни,

отмахиваясь от облепивших их униформу мух,

жарят на броне танка бекон с яичницей;
 позже стынут
в строю, поджавши хвосты, расстелив камуфляжный мох,
в скроенных в штате Юта шортах.
Их мордочки в кока-коле и табаке,
а лапки, в белых тапочках, на теннисных кортах
шуршат гравием и палой листвой,
 под которой не разглядишь ни дату,
ни окопавшихся в ней червей.

Ты – как Роммель – летишь бомбить Мальту.
Этого требует твой продюсер.

В кожаном рюкзаке несессер,
 уже ничей,
делает сальто-мортале,
когда ты мне его швыряешь в лицо,
и я чувствую стыд застезки за ворох выпавшего белья.
На фюзеляже твоём наколки
всех тобою сбитых заподлицо.

Горько!
Бля
буду, бля.

Н. _____

Ливень напал на нас на углу
Седьмой авеню и Пятьдесят

седьмой Ист-стрит. Ошиблись на один перегон.
Из-под земли inferнальный дым
лиловый негр разгонял свистулькой
(я думал, он подзывает такси).

В бумажном пакете бутылка виски.

И вышли уже на солнечный свет, в Беркли,
и выпили кофе, и целый час проболтали.

«Then I've took his penis into my mouth, а он,

он ничего не сказал.

Лишь сильнее сжал руль. Мы вылетели
на пустынный хайвэй. Меня не было видно».

Как зеркало в ванной три дня
в стихотворении Лоуэлла, испариной
покрывались холмы – «Здесь

мы были в раю,
как иначе любить...» Do you
like it? I do.

Скорость

тает во рту
кожицей, сматываемой с чесночной головки;
по дуге моста длиной в строку, ту,
что не свернется
улиткой лепета в скорлупе
обложки никакого залива, – в nothing,
nothing at all. «Помнишь мистера и миссис Эллиот,

как они старались иметь детей?» При чем здесь дети, не лучше ли нам чего-нибудь съесть?

Ну, вот.

а. _____

кентаврессы в черном на роликовых коньках
дуют в час пик по проезжей части
на спине подрагивает миниатюрный
ларчик-сумочка самовитой самки
с начинкой для офиса туалета любви и так далее
скандируя легкой отмашкой рук
мне невнятную музыку или слово
как таковое ну да ну да
слалом однополый напалм
несущуюся из пристегнутых к декольте
пластиковых дигитальных млечных
похожих на перламутровые тельца
механических скарабеев
иерархические фигурки
манхэттена в пиджаках приоткрывающих круп
кобылиц с выжженной правой грудью
перетянутой кожаной португеей
Нут в радужном оперенье
посюсторонняя блонд-
чья стрела
пущенная с того
клитора света конца подземки

пираньей пожирает пирамиды стекла
-инка
мой рот
черномазых желтых
бледнолицых чикано и пейсы курдов
белоснежные тюрбаны шоферов желтых желтых такси

прибывших в Нью-Йорк из одной желтой желтой
пакистанской
деревни

за мной

солнца лазерный диск

но это ночью

И. _____

Папочка твой смотал удочки
аж в конце семидесятых.
Помню черную волгу на школьном дворе, и как ты
бросаешься ему навстречу. Мы все
вылезли поглазеть. Еще бы. Форменный твой передник
уже тогда
славился дурной славой, то есть короткой
длинной. Воображал,
что у тебя с ним роман, правда-правда; но самое
смешное,

как оказалось, это не было таким уж далеким от
правды. Итак, ты повисла
в его объятиях, так что я не видел лица, а Долгушин,
с которым вы сидели за одной партой на
уроках английского – он мучился, до смерти
ревновал к твоим ногам и произношению, – ухмыляясь,
посмотрел в мою сторону. Нам тогда
было тринадцать,
и черная волга
впервые въезжала на школьный двор.

<...>

В госпиталь ко мне
тебя не пустили. Лежал
эмбрионом в боксе, с резиновой

трубкой во рту,
иглой в пояснице;
потом – с подушкой

кислорода, чьи пузырьки
поднимаются по позвоночнику вверх.

Ой, мамочка, горячо!

Полиэтиленовой пленкой
покрывается голова, превращаясь в гроздь
воздушную Монгольфьера
(она-то им и нужна, ее-то они
и сканируют).

Сестра
нашатырный спирт
подносит, дыши, говорит, чтобы в обморок
не упал.

Не... не...
упал. Но было мне откровение
(блажен читающий эти слова,
ибо время близко):

выносят меня вперед ногами;
и у сестры в приемном покое
хуй
с наколкой «ВМФ»
на залупе.

с. _____

куда вложить свое либидо —
в рекламу чудную в бирнамский лес огней

в слезоточивую браваду?
и я там был как письма горел
с боснийкою в босой бойнице

больничных корпусов разорванной петлицы
иприт очей моих не позабудь нарыть
могил влагающих как майя или кали

– и все русистики – и трамвай зиял
...какое-то подводное свеченье
как бы Кузмин на цыпочки привстал —

2

сукно зеленое в бильярдных
сакраментальные шары
циркачки в мини с длинношерстным кием

в притонах Оклэнда иль Сакраменто
все катится не то чтоб в тартар
но в райские тартары

здесь Данкен лег костями и съеден весь

за ренессанс как францисканец в рясе
в обнимку с юной Анаис

где дольной лозы прозябанье
на *Russian Hill* в Италию Париж
куда-нибудь запанибрата

где месяц с финкою кривой
и тоже пьяною как курва
с оторванной головой

3

туманный спит Владивосток
ты сторожишь свинину
покуда девственный не раскроют висок

не задерут штанину
покуда хлеб не отопрут

не отомкнут свой хлеб
поэзией ты будешь клясться

и кончишь прохрипев

На древнееврейском «язык» был «губой»: «одна у всех губа, одно наречие». И: «Смешение, ибо смешал там Яхве губу земли всей». Отсюда рваная форма этой вещи, написанной на три четверти сходу, в один присест. Задним числом я предпочитаю говорить именно о «рваности», а не, к примеру, «фрагментарности». Фрагмент может раскатать губу, быть пущенным в оборот; как бы он ни сопротивлялся единству, включению себя в систему, тем не менее ему легко придать статус чего-то равновеликого в миниатюре, чего-то «в себе», обо что разбиваются любые попытки построить Систему. Но поэзия никогда не в себе. Дело не в аллюзиях (их действительно может быть шквал) или торчащих парафразах чужих строк, оборванных на полуслове. Бесплодная земля в переводе Сергеева давно уже стала обетованной. Женщина, чье имя, пусть и бесстыдно рассекреченное на манер ее же собственной прозы, скрепляет своими литерами отрывки – в память о других, куда менее податливых, – давно умерла. Ее жизнь, одну и ту же увесистую книгу, я листал попеременно в пяти разных книжных магазинчиках одного университетского городка; почему-то она неизменно попадалась мне на глаза. Там была групповая фотография психоаналитиков первого и второго призывов. Незабываемое зрелище. Отто Ранк смотрелся обезьянничавшим Ремизовым –

те же вихры, те же подстриженные глаза, – их невероятное сходство меня поразило, как в свое время поразила констатация этим последним обескураживающего факта: и некуда проснуться. Я, стало быть, кружил, шатаюсь от полки к полке, вокруг этого «некуда». Я его толковал как толкование сновидений, как травму рождения. Я не помышлял ни о какой поэзии. Что я говорю, в какой-то момент она перестала для меня вообще иметь смысл. Почему любишь женщину больше, чем женщин? (Лоуэлл). Я слышал, как на ветру шуршит тихоокеанская газета и, стоя по ту сторону Golden Gate Bridge, на смотровой площадке, оставшейся от укрепленной, забранной в бетон огневой точки со Второй мировой (отсюда ждали японцев), видел Владивосток, где в военно-морском госпитале на Черной речке провел когда-то огромное количество бесконечных – благодаря своей поголовной монотонности – недель. Они цвета того резинового полужгута-полутрубки, которым перетягивают руку повыше локтя перед внутривенным. Сначала мне никто не верил, что водку можно пить с молоком, что это безумно вкусно. То была эпоха великих географических открытий. Нью-Йорк – Чикаго – Сидар-Рэпидс – Нью-Йорк – Сан-Франциско, их наскренные воздушные замки в ночной подсветке при заходе на посадку, зрение раздваивалось, расстраивалось, я за ним не поспевал еще и по чисто, как теперь понимаю, лингвистическим причинам. Фантастическая скорость перемещений в пространстве – вещь, уже сама по себе способная вызвать

легкую эйфорию (в какой-то момент, несясь в автомобиле, я напрочь утрачивал чувство реальности, просто переставал что-либо соображать), совпадала с событием несколько иного порядка: растянувшейся не на один месяц оторванности от стремительно терявшего в удельном весе русского языка. Английский его объедал. Обедание это было чудесным, в чем-то сродни амнезии, ее ненасытному головокружению. Невозможность говорить на материнском языке сулила, оказывается, предельное, ни с чем не сравнимое удовольствие безответственности (в Париже, встретившись на Понт-Неф с Леной Долгих, я только и мог что разразиться матерной тирадой – от восхищения: Париж, Лена Долгих, Понт-Неф; тоже своего рода блаженство, на сей раз, полагаю, инцеста). Мне снились сны, в которых, вслед за пейзажем, неуловимо изменился сам принцип цензуры (замещения). Меня не покидало ощущение, что, перестав думать по-русски, то есть перестав внутри себя цепляться за перевод, я перестал думать вообще, в голове у меня не было ни единой мысли, это то восхитительная пустота и вскружила мне голову, я был настолько пуст, что отрывался, как воздушный шар, от земли, она меня не держала; мыслей было несметное количество, и все неслыханные, я их знать не знал, впервые видел, они приходили словно бы помимо меня и проходили насквозь, я не успевал их подумать, как если бы до этого я только и делал что испытывал терпение кого-то другого, а сейчас наконец получил что-то вроде увольнительной из тюрьмы языка.

Это причиняло некую подспудную боль, которую так легко было перепутать с болеутоляющим, потому что она и была болеутоляющим, потому что ниже этой щадящей и словно бы даже нежащей боли я испытывал совсем другую, неотвязную, нестерпимую, к очагу которой было, как ни крути, не подступиться. Терпение. Терпение я потерял совсем. На семидесяти с чем-то процентах имеющихся в обращении долларовых банкнот, сказали мне, обнаружен кокаиновый след, их сворачивают трубочкой и вставляют в нос, чтобы порошок не распылялся на вдохе, а попадал точно по назначению, вот так. Под утро, перед самым закрытием, появлялись венценосные особы; от их головных уборов в радужных перьях и лифов в блестках можно было остолбенеть, они шествовали с гордо поднятой головой, утопающей в театральном море бумажных цветов, в ореоле одаривающих царской милостью благосклонных улыбок, им салютовали, расступаясь, всегда, их шлейфы влачили пидовки понеказистей, но тоже исполненные королевского достоинства, с поясами, крепившимися, казалось, не на бедрах, как то пристало этой символической детали женского туалета, а где-то чуть ли не у самого горла, образуя вспененное кружавчиками подобие горжетки у одних, испанского воротника – у вторых, срывающегося на крик декольте – у третьих. Я погружался во влажные романы Жене, как погружаются во влажные сны. Оглушала не музыка, к ней я оставался почти равнодушен, оглушало другое. В иные дни, оглушенному, мне казалось, что это

безмолвие. Поднимавшееся из бездонных глубин безотносительное ко мне безмолвие, готовое затопить или отверзнуть уста. Какой смысл в поэзии? И однако же мое безрассудство росло с каждым днем, я с непостижимой легкостью произносил фразы, чей смысл настигал меня где-то на другом конце света, он меня, а не я его, и от этого ничего не менялось. Я себя не узнавал. Эти фразы клонили к чему-то, приблизиться к чему я не смел. Я выбивался из сил, чтобы к нему не приблизиться. Мне нравилось оставаться здесь. И все же меня к ним прибывало. Я просыпался. Я вставал утром, чтобы уже никогда не ложиться спать. Я не мог спать. Я спал как убитый. Они словно бы намекали на какой-то имевшийся в них кардинальный изъян, из него-то и проистекало их могущество, могущество, я хочу сказать, сообщавшее им такую необыкновенную легкость, что я не чувствовал под собой ног, праздного, меня влекло навстречу пылающему дню с бьющимся сердцем – как дыхание, когда бы его мне делал кто-то другой. Это состояние эйфории, враз себя исчерпав, завершилось тем, что я отважился сесть за руль чужой машины, не умея водить. Искушение было слишком велико. Была ночь. Ума не приложу, как мне удалось ее завести. Я ни слова не понимал, сцепление, педаль, задний мост, какие смешные слова, меня охватило безудержное веселье, безумное желание хохотать, вот я и хохотал, я не переставал хохотать даже тогда, когда мы врезались в какой-то столб на стоянке у супермаркета. Fuck. Fuck. Fuck. Fuck you. Тупо гля-

дя в то, что осталось от лобового стекла. Это была ее машина, и она имела полное право так говорить, повторять свое fuck с таким отчаянием, с таким потерянным видом и в то же время неподдельной яростью, будто ей при всем старании никак не удавалось загнать в мою паршивую задницу искусственный член. Во всяком случае, в тот момент я так ее понял. Позднее раскаяние. Наконец она повернулась ко мне; по крайней мере, мне показалось, что повернулась, тогда как никуда она, скорее всего, и не думала поворачиваться, просто ее мотнуло в сторону раз, другой, она дернулась и затихла. Теперь пришла моя очередь по части fuck'ов. Я повернулся и только тут увидел ее лицо. Ошибиться было нельзя. Не берусь описывать этот взгляд; вдруг я почувствовал страшный холод, я подумал, чуть было не задохнувшись от этой мысли, уж не плохо ли ей на самом деле, не потеряла ли она сознание. Не знаю, что взбрело мне в голову, все это напоминало пародию на что-то уже некогда виденное, возможно, то и была не более чем пародия, помню только совершенно дикое предположение, что напоследок она, чего доброго, решила меня разыграть, но, с другой стороны, не настолько я был уверен, чтобы что-либо предпринять, это предположение и само походило на плагиат, я оцепенел, то могло быть и какое-то близкое к озарению непотребство, внезапное наитие, обернувшееся своей зловещей изнанкой, полная скорби и торжества догадка, что одними словами тут не отделаться, и повлекшая за собой до сих пор остающийся для меня та-

инственным в своих истоках вероломный порыв, рискованному соблазну которого она уже не могла противостоять; но в темноте я мог и обознаться, превратно истолковать его как дерзкое желание чего-то другого, до чего мне было рукой подать, да ей и самой, наверное, было нелегко с ним совладать, он ее распирали, распирал сверх всякой меры все то время, пока она повторяла fuck и, в конце концов, истошил. Из машины точно выпустили весь воздух, до того мне стало вдруг его не хватать, притом что в салоне все еще как будто стояли брызги осколков. В нем хозяйничал ветер, а я, я был никем. Тут только до меня дошло, что не могу пошевелиться. Странно, но это придало мне решимости. Рот ее, едва дрогнув в уголках губ, через секунду искривился то ли судорогой, то ли чем-то еще – усилием, которое ей по необходимости пришлось приложить, чтобы не рассмеяться самой? – то был бесшумный всплеск на ровной глади лица, тотчас же и поглощенный непроницаемой толщей, но под ней, под ней уже угадывались набухающие черты того, что ни при каких обстоятельствах, ни в какой миг я бы никогда себе не пожелал, – он приблизился к моему и вобрал его в себя с каким-то захлебывающимся клетотом, походившим скорее на вздох облегчения, чем на хрип, и это вконец сбило меня с толку, хотя в тайне я не мог не восхищаться тем, на что она шла, даже если и предчувствовал плачевный для себя самого итог; у меня перехватило дыхание; в тот же миг, непроизвольно сглотнув, с какой-то скорее оторопью, нежели ужа-

сом, оторопью, не позволившей мне закричать и только потом уже перешедшей в нестерпимую муку, я понял, что из моей прокушенной нижней губы хлещет кровь.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.